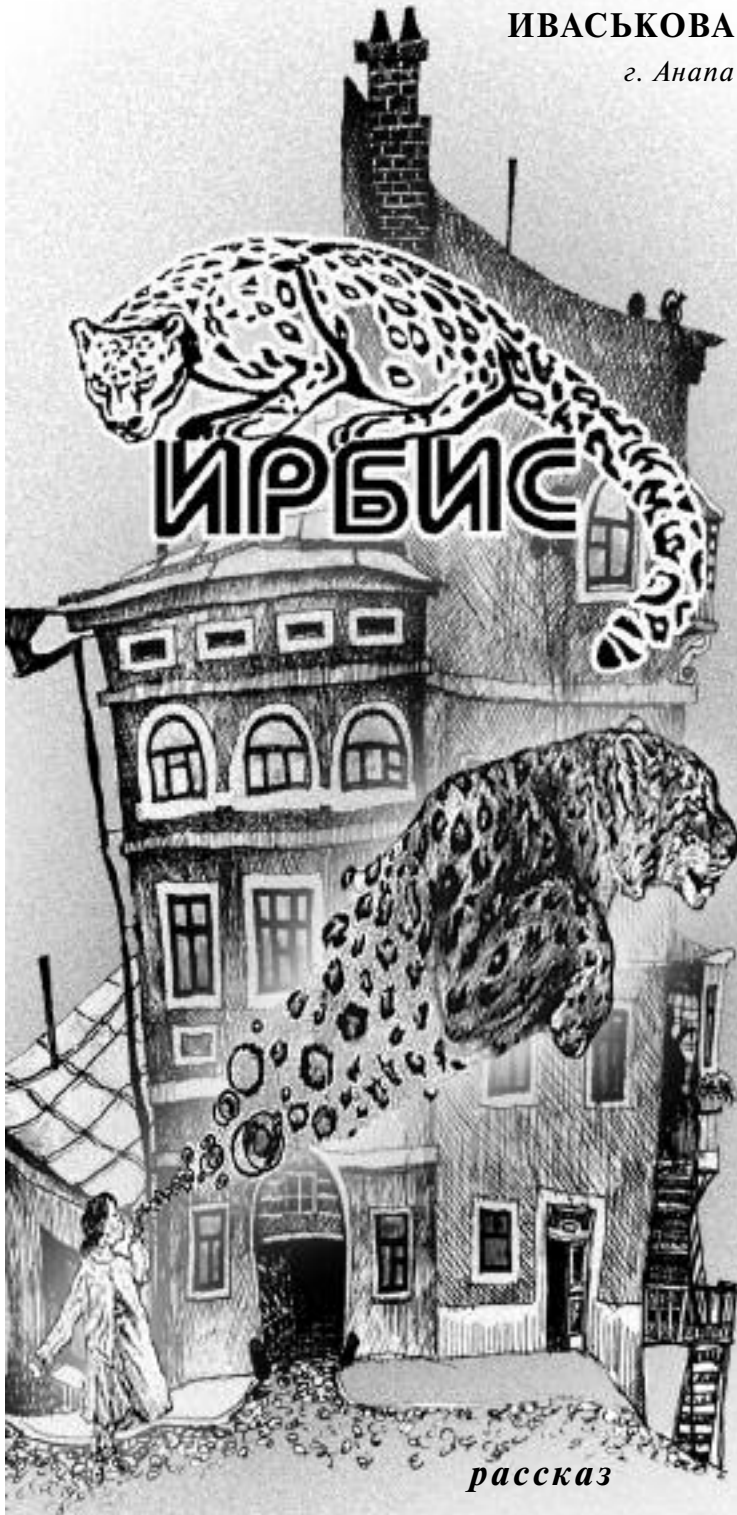


**Ирина
ИВАСЬКОВА**

г. Анапа

*«Я поведу тебя в музей!» —
сказала мне сестра.
Сергей Михалков*

1



рассказ

Сносу коричневым туфлям не было. Марка хорошая, английская, сшиты добротнo — вот и носятся пятый год. Одно дурно получилось: прошлой осенью старичок обувщик перестарался, пожалел Риту, зачем, мол, тратить на ремонт, сделаю тебе как лучше. И поставил на каблуки железные набойки. Люблю, сказал, когда девушку издалека слышно, да звонко так, словно лошадка подкованная бежит.

По асфальту ещё ничего выходило, твёрдая такая поступь, глухая, и даже уверенность какая-то Рите чудилась в собственных шагах. А вот в магазинах и прочих присутственных местах одна неловкость и глупое цоканье. На Риту оглядывались с недоумением, и она старалась идти потише, скользила на носочках и от этого походку имела странную, в полуприседе.

Денег на новые туфельки никак не откладывалось — а сколько было их в магазинах! И мягкие — замшевые, вроде тапочек, и копытистые — зеркального лаку, и блестками усыпанные, и с хитрыми тесёмками вокруг лодыжек. Пахнут свежим клеем, резиной и чем-то сладким, неуловимым — неношеным. Дурак ты, старый обувщик, будка твоя заросла грязью, а инструменты грубые — всякие молотки и клещи. К новым башмачкам тебя уже не подпустят, да и нет нынче обычая обувь ремонтировать, шьют её из розовых лепестков, а как треснет — сразу выкинут безо всяких сомнений.

«Вот, — размечталась Рита, — как разбогатею, накуплю себе разноцветных, лёгоньких, а эту коричневую дрянь в мусорное ведро отправлю и ещё очисток сверху картофельных брошу, чтоб все знали...»

Кто и что должен был знать, Рита додумать не успела — обшитые гранитом ступени музейного крыльца кончились, и выросли перед нею тяжёлые двери из четырёх створок — три широченные заперты накрепко, а одна, поуже, открыта.

Когда-то музей именовался ленинским, теперь же имел название сложное и длинное,

подразумевающее лишь одно: цельное, литое, суровое пространство разбито на осколки и пущено в оборот. В детстве Рите казалось, что эту громадину музея возвели древние египтяне, многие знавшие о гранитной обтёске и ощущении безучастной мощи, и она даже представляла себе эту строительную суету на пологой, ещё не убранной в камень набережной – дружное уханье, скрежет, звон, пёстрые набедренные повязки и смугло-жёлтые, мокрые от пота лица, повернутые к зрителю непременно в профиль... Сегодня о таких глупостях Рита не размышляла – торопилась, чтобы суп не остыл.

– Здравствуй, Ритуля, – рыжая билетёрша глянула на неё со своего трона, скрестив копыта толстых спиц и придерживая норовящий спрыгнуть с колен клубок. – К Русику, что ли?

«Вот дура, – подумала Рита, – к кому ж ещё!»; а вслух заговорила вполне приветливо и шуточно:

– Да, Катерина Пална, покормлю, думаю, нашего мальчика.

– Так лучше кормила бы, отощал ведь совсем, одни кудри остались, – рыжая покачала головой, польстив Рите своими словами: так говорят женщинам признанным – жёнам или почти.

– Так стараюсь я, стараюсь, не запихаешь же в него ничего, – посетовала Рита, поставив пакет рядом и расстёгивая плащ. – Ну, побегу я, – и, подхватив свою ещё тёплую ношу, засемила по полу на манер не добравшейся до льда, но уже нарядившейся в коньки фигуристки.

В огромном пространстве первого выставочного зала, превращающем даже самого высокого человека в знающего своё место крохотного посетителя, железные набойки звучали оскорбительно громко. За первой же колонной, способной одновременно скрыть не меньше трёх Рит, туфли она немедленно скинула, осталась в чулках и даже хихикнула тихонько от того, как легко и скользко стало её ногам.

– Хоп, – сказала Рита шёпотом, крутанулась на одной ноге, подпрыгнула, – тройной тулуп! – и поклонилась невидимой публике. Ах, как аплодировали ей эти стены прошлой осенью, когда Русик впервые привёл её в музей глубокой ночью и показал, что будет, если снять обувь и хорошенько разбежаться.

– Смотри, как я могу! – прошептал он в полупрозрачной пустой темноте, скинул резиновые шлёпанцы, остался в одних носках и понёсся куда-то вдоль бледной, струящейся по мрамору лунной тропке. – Давай попробуй, – услышала Рита его тихий голос, – только не верещи: тут эхо такое – ушам больно.

Тогда она тоже сняла туфли, ещё тихохонькие, не облагороженные стараниями обувщика, рванулась вперёд, раскинула в стороны руки и заскользила по холодному, до стеклянному блеску отполированному камню. Пронеслась мимо толстых колонн, ряда скучных стендов, двух окон-бойниц – узких, наполненных луной, а после врезалась прямоком в Русика, и от этой резкой остановки сердце её забилося быстро и больно.

О Русике рассказывали всякое – и ничего хорошего для Риты в этих рассказах не было. Призванием своим Русик считал сладкое, прочувствованное безделье, но допускал при этом необходимость за это безделье собственным временем расплачиваться, для чего служил сторожем то здесь, то там. Тихие звёздные ночи бережно хранили сон его беспечных нанIMATEЛЕЙ, доверяющих ключи вежливому, малословному мужчине и не подозревающих, что любое самое скучное место, попавшее под Русикову охрану, мгновенно обращается в святилище безумств и наслаждений. Ходили в числе сопровождающих его карьеру историй и героические: вроде как в одиночку, вооружённый лишь отбитым от винной бутылки горлышком, отстоял он не снятую владельцем, оставленную до утра выручку; встречались и совсем неприличные, в которых, например, фигурировали две подруги-бухгалтерши, ящик шампанского и белые, сохнувшие на заднем дворе химчистки ковры.

От сплетен Рита отмахивалась, а про себя решила: она простила бы Русику всё что угодно, лишь бы сохранял он это тёплое равнодушное выражение глаз при взгляде на любую, даже самую красивую женщину. «Так глядят кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных...» – вспоминала она читанное в школе невесть чьё и страшно переживала, только лишь представив, что Русик может взглянуть на кого-то с мольбою или страхом. Он и не

глядел. Правда, и Рите много не доставалось, но дозволено было Русика изредка подкармливать, а ещё гладить тихонько по сухим жёстким, словно бы просоленным морской водой и оттого слегка вьющимся волосам.

Год назад Русику страшно повезло. Из ночных хранителей ателье, автомастерских и магазинчиков попал он в музейные сторожа — да не мелочи какой-то из трёх комнат и гардероба, а громадной многоуровневой глыбы, наряженной в гранитные доспехи и вот уже сорок лет сурово глядящей на широкое, полнотелое, бегущее на север речное полотно.

Здесь Русик познал счастье. Ночью, когда гасли лампы и уходили люди, все четыре этажа музея были его: и первый — с выставками фотографий, и второй — с галереей картин, и третий — с макетом звёздного неба, и четвёртый — с огромным аквариумом и чучелами лесных зверей. Такого богатства и представить себе было нельзя, а если прибавить чердак с похожими на католические кресты балками перекрытий да мягкий диван в подвальной комнатке, да возможность без отключения сигнализации открыть чёрный ход, словно бы специально предназначенный для Русиковых подруг...

«Море, море... И отчего это он всё время так выглядит, как будто только из лодки вышел? — думала Рита, свернув с гладкого гранита на усталые ковровые ступеньки, ведущие в подсобные музейные кишки: узкие коридоры, кладовые, странные, зависающие между этажами переходы с неожиданными, бьющими дневным светом окошками. — Свежий такой, словно плавал долго, прям как моряк... — коридор вёл Риту к давно умершему лифту, а потом к лестнице, почти вертикально падающей вниз. — А моряки не плавают, а ходят... А художники не рисуют, а пишут... Вот напридумывают же, а...» Рита остановилась у двери с красной надписью «Вход воспрещён» и привычно толкнула её плечом. Дверь не поддавалась, и Рита нажала сильнее. За дверью слышалась музыка — что-то из любимых Русиком замысловатых, но бездумных мелодий, — и девичий смех.

— Ру... — начала было Рита, но замолчала. К чему-то такому она уже давно была готова, и теперь нужно было отступить, не теряя лица.

Рита ужаснулась, представив себе вероят-

ность обратного пути мимо ухмыляющейся и, конечно, всё знающей билетёрши, но потом вспомнила о чёрном — запáсном, как говорил Русик, ходе, оставила пакет с супом возле двери (не обратно же тащить его, пусть сожрут и подавятся!) и бесшумной рысцою понеслась в глубь коридора. Спустя два поворота и один лестничный пролёт гранитная глыба музея, дающая, видимо, счастье не всякому, выпустила Риту на свободу — и здесь, в заваленном мусором дворовом закутке, можно было надеть треклятые туфли и немножко поплакать.

На кухне пахло жареным луком и мокрым бельём — Рита только что развесила простыни на протянутой от стены до стены верёвке. От этой смеси съедобного, масляно-острого с холодным и свежим Риту слегка мутило. Нехорошо, мутно на душе было и от мыслей об оставленном в музее супе — ну, дура душой, чего распсиховалась. Надо было постучать погромче, вдруг дверь заклинило, а смеялась какая-нибудь сестра или старая, толстая и некрасивая подруга?

Хотелось спать. Но укладываться ещё рано и вообще шевелиться лень — придётся сидеть на табуретке и смотреть в тусклое стекло телевизора или в окно, не умеющее спрятать за куцей занавеской розовобокие закатные облака.

Квартиру эту под номером шестнадцать — из одной комнаты, кухни и метрового пятячка коридора — Рита снимала второй год. Жила тихо, подрабатывала где получалось и всё не могла избавиться от ощущения, что здесь, на третьем этаже панельной пятиэтажки, жизнь пишется начерно; и очень скоро она сменится чем-то настоящим, и через несколько лет это временное убежище вспомнится с ностальгией и некоторым недоумением — разве можно было жить вот так: умываться в расписанной плесенью ванной, шлёпать босиком по липкому от старости линолеуму и ежедневно сражаться с вываливающимися из своих насыженных гнёзд оконными шпингалетами?

Очень хотелось, чтобы эти несколько лет пролетели побыстрее и можно было очутиться в устроенном быте и благополучии. И не очень хотелось знать, что там будет, в этом временном промежутке — наверное, какая-то работа, какие-то встречи, может быть, даже огорчения

— ведь всё пройдёт и всё забудется, и после непременно будет хорошо. А пока времени было не жалко, и летело оно так легко, а раздражала — вроде крапивного укола — только полная невозможность вписать в своё будущее счастье того, кто больше всех мил.

В полусне, с новой, ещё незнакомой тоской где-то в неоощаемых обычно глубинах тела, Рита добрела до постели и упала на покрывало, не снимая платья...

— Алло, Ритуль? — голос в трубке был знаком, но Рита никак не могла вспомнить откуда.

— Да, кто это? — говоря, она чувствовала, что шевелит губами, но не слышит саму себя.

Голос обиделся:

— Это Катерина Пална, ты чего, своих не узнаёшь?

— А... — вяло отозвалась Рита, даже не возмущившись вранью — какие, к чертям, свои... — Да я ещё сплю. Что случилось?

— Ритуль, — билетёрша замялась, — тут такое дело... В общем, Русик сбежал. Ты когда приходила, он там с девчонкой какой-то сидел. Уж прости, не сообразила тебя предупредить. А вечером спохватились — нет его. Через чёрный ход ушёл, всё бросил — и ключи, и документы. Директор переполошилась, всем разнос устроила, даже мне досталось. Кричала, что мы бордель развели в учреждении культуры. Но хуже всего, что он ценный экспонат с собой прихватил. Чучело барса, представляешь? Ну вот зачем ему барс?

— Это Юра. Русик его молоком поил, — сказала Рита.

— Чего? — переспросила Катерина Пална. — Кого поил?

— Русик назвал барса Юрой, — терпеливо, как ребёнку, объяснила Рита. — Говорил, что завёл себе домашнего питомца. На ночь ставил перед ним молоко. Утром блюдечко всегда пустое было, я сама видела.

Катерина Пална молчала, и молчание её было явственно соткано из недоумения и раздражения.

— Ладно, — сказала она, прервав тишину, — ты, видать, не проснулась ещё. Я потом перезвоню. И за супом своим зайди, кастрюлю-то, что ж, оставлять теперь, что ли...

На занятие никто не пришёл — оказалось, праздник какой-то. Мать забыла какой, но очень разозлилась, потому что ученики должны были дать денег, а теперь придётся ждать до вторника.

Она закрыла пианино, убрала выставленные полукругом табуретки и сняла специальное платье для занятий — не домашнее, но и не уличное, с мучительным даже для глаз длинным рядом мелких пуговиц. Мать всегда расстёгивала только несколько верхних, а потом, приглушённо ругаясь, выбиралась из плена синей, пощёлкивающей искрами ткани: «Синтетика — дрянь такая!»

Поскольку денег сегодня не принесли, настроение у матери было плохое. Оля страшно завидовала Тане, успевшей выскочить из дома ещё утром. Она вернётся поздно, если вообще придёт ночевать. А Оле отдуваться. Совсем затаиться нельзя: если из комнаты не будет доноситься ни звука, мать рассердится. Конечно, и шуметь не стоит — от этого может быть ещё хуже. Оля тихонько включила радио, выбрав волну попроще — что-то нехитрое, без слов, и уселась в уголке дивана с книжкой, подобрав ноги и открыв потрепанный томик где-то посередине.

В материнской комнате было тихо. Вот если бы она играла или смотрела телевизор, или пошла на кухню... Но эта тишина означала одно: мать переводит дух перед броском.

— Ольга! Что делаешь? — голос матери звучал не резко и вроде как даже не зло.

— Читаю! — откликнулась Оля.

— Ты со своим расписываться когда будешь? — вопрос был задан так, что Оля захлопнула книжку и поняла — не избежать.

Она встала и пошла к матери — знала, что лучше пойти самой и сразу.

За глаза ученики Марины Николаевны прозвали её Маришкой — по причине невеликого роста, детской худобы и манеры хохотать, запрокидывая голову и разевая рот. Аккуратно толкая тонкими сухими пальцами клавиши, покачиваясь туда-сюда в такт, обучала она своих питомцев хоровому вокальному мастерству, более всего уважая раскладывающиеся

на множество уровней, многослойные, словно бы разноцветные, музыкальные полотна.

Ещё в прошлом году дело шло хорошо — ученики приходили два раза в неделю, выводили что-то негромкое, ладное, а после занятия дружно пили чай; но к этой осени всё как-то развалилось и притихло. Учеников становилось всё меньше, и всё чаще пропускали они занятия, а из музыкальной школы мать уволилась ещё два года назад, конечно, со страшным скандалом, и денег ни на что не хватало.

Оля встала перед матерью, прижав книгу к груди и сделав слабую попытку уйти от неминуемого:

— Что ты, мам, сказала? Я не услышала.

— Я сказала, расписываться когда будешь, — почти миролюбиво повторила мать и добавила к своим словам пару непечатных. — Школу, значит, окончила, в мой дом мужиков таскаешь. Думаешь, я терпеть буду? Звони сейчас же своему, пусть приходит, пойдём в загс, выберем дату — распишетесь и живите как хотите. Вон у твоего трёхкомнатная, вот туда и пойдёшь, шалава ты подзаборная.

Таня как-то умела ответить матери быстро и просто, повышая голос до возможного предела и легко перекрикивая мать, которая свои связи берегла; но Оля терялась, каждый раз почти до обморока боясь худого, скуластого материнского лица. Оттого и молчала всегда, стараясь смотреть куда-то внутрь себя и представлять, что всё скоро закончится и можно будет спрятаться. Убежище, правда, у неё было ненадёжное — маленькая семиметровая комната, уставленная по трём стенам книжными полками, растущими от пола до потолка и набитыми пыльными, выцветшими, забытыми многотомиями. В этой полукладовке-полубiblioteке сёстры жили вдвоём. Мать же занимала комнату попросторнее, соглашаясь делить свои семнадцать квадратов только с пианино, телевизором, узкой кроватью и стеклянным посудным шкафом, гордо именуемым «сервант».

— Ну что молчишь-то, паршивка? — продолжала мать, прищурившись и глядя на Олю с гадливостью. — Нечего матери сказать?

Оля с тоской подумала о том, что, если бы мама хоть чуть-чуть её любила, можно было бы

сейчас сесть рядом и поговорить с ней про всё-всё. И как встретила с Костей прямо на улице, и как он её к себе позвал в гости и познакомил там со всеми, и как они все вместе ели пирог с вишней — удивительный пирог! И как она до ужаса боялась сказать что-то не то, а когда Костин папа спросил, куда она будет поступать, подавилась и долго кашляла, а Костя стучал ей по спине и смеялся, а ладонь у него была горячая. И как потом она его к себе в гости позвала, и он побыл совсем недолго, а мать потом пришла и сразу всё поняла по Олиному лицу и дрожащим рукам. И как потом пришла весна, а потом лето, и Костя стал звонить совсем редко. И как он пропал на целую неделю, а она пришла к нему в институт, и вахтёрша не пускала, а он потом спустился по лестнице — широкой такой, и свет бил через огромное окно ему в спину, и от этого виден был только его силуэт. И как он подошёл, молчал и так смотрел — никак, а она обняла его, а он даже руки не поднял, чтобы обнять её в ответ. И как домой пришла к нему, но пирога ей больше не предлагали, и вообще они в коридоре разговаривали, а папа его вышел из гостиной и сразу обратно ушёл — просто кивнул Оле и всё. И о том, что позвонить Косте теперь совершенно невозможно, лучше сразу умереть, чем позвонить; и о том, что уже полгода они не виделись и, наверное, больше не увидятся никогда.

— Сама-то ела? — спросила мать, не глядя на Олю и бегущие по её щекам слёзы. — Иди чайник поставь, овсянки завари, там остались ещё пакетики. Мне не надо, я поиграю, а чаю попью попозже. Нам до вторника двести рублей осталось. И что за праздники напридумывали, людям работать не дают, — и мать снова выругалась, но уже без особой злобы, устало.

Когда вернулась Таня, материн гнев уже совсем выдохся — даже странно, никогда она так быстро не успокаивалась и уж если заводилась по одному поводу, то потрошила его до хирургической чистоты. По-хорошему, разговор должен был закончиться безуспешными попытками Оли отобрать у матери свой телефон — в прошлый раз мать всё же дозвонила до Кости и долго кричала, что так этого не оставит и что будет, будет всё по справедливости, а она уж знает, ку-

да и к кому нужно для этого обратиться.

Но сегодня мать всё сидела за пианино и даже не дёргала каждую минуту Олю с требованием то открыть, то закрыть окно, принести воды или спуститься вниз, к соседям, и заставить наконец-то умолкнуть их вонючую шавку. К тому же сегодня из-под её пальцев лилось незнакомое — не обычная лавина хитро переплетающихся мелодий, а что-то строгое, ровное, простое и словно бы клетчатое.

Должно быть, такой музыке удивилась и Таня, открыв дверь и замерев на секунду — старая привычка сестёр, сохранившаяся ещё с детства: распахнуть дверь и приняться, нутром почуять настроение дома. Но, скорей всего, она и не заметила ничего, занятая собою и сложной своею женской судьбой, занимающей её класса с восьмого и с того же времени отменившей для неё все другие интересы.

Этот мир, составленный из звонков, встреч и серьёзных разговоров, Оля наблюдала вроде как из зрительного зала наравне с Таниными подругами — бледными её тенями, отвергнутыми поклонниками и, конечно, матерью, расположившейся где-то на галёрке и давно уже отчаявшейся хоть как-то повлиять на ход этой пьесы. Каждое утро занавес взвизывался вверх, и главная героиня выходила на сцену во всей своей щедрой красоте, позволяя восхищённой публике ловить реплики и наблюдать положения.

«Скворцовское отродье...» — презрительно бормотала мать, только таким образом поминная отца своих дочерей, сгинувшего где-то миллион лет назад и оставившего после себя лишь звонкую птичью фамилию. Таня, родившаяся на два года раньше Оли, говорила, что помнит большую тёмную фигуру, заслонявшую свет, а ещё накрепко связанный с этой фигурой город Владивосток. И, только глядя на Таню, можно было судить о том, каким был отец — высоким, густоволосым, черноглазым. Оля-то пошла в маму — маленькая, светлая, непородистая... Но по этому поводу она уж давно отгоревала, да и страшно было даже представить себе, каково это — быть Таней.

— Мне никто не звонил? — запыхавшись, крикнула из коридора Таня.

Не получив ответа, она швырнула сумку в

угол и влетела на кухню — яркая, свежая, несущая за собой запах только что прошедшего дождя и какую-то новую, незнакомую Оле радость.

— Олька! Ой, Олька! Чего расскажу! — зашептала она жарко и быстро. — Есть охота ужасно! Чё тут у нас? Каша? Накипяти водички, пожалуйста, завари мне два пакетика!

Таня заметалась между ванной, кухней и комнатой, как обычно, наполняя квартиру шумом, плеском и хохотом. Мать сунулась было на кухню и даже поинтересовалась, не слишком ли поздно вот так возвращаться домой и не желала бы старшенькая вернуться туда, где была; но слова эти были встречены таким безразличием, что мать отступила к себе и даже двери закрыла.

— Она сегодня странная какая-то, — поделилась Оля. — Занятия отменились, а она и не орала почти.

— Вижу, как не орала. Почему тогда у тебя глаза заплаканные? — съехидничала Таня, улетающая только что заваренную овсянку, — никогда она не могла дожидаться, пока остынет, и хватала всё горячим, почти обжигающим...

Уже давно стемнело. Город притих, словно убавил громкость, и выпустил на свободу всех своих ночных светлячков: замелькали автомобильные фары, замигали фонари, зажглись бледные лампочки у подъездов. Оля включила ночник, задёрнула шторы и сняла давящую затылок заколку. «Надо бы коротко постричься, — в который раз подумала она, — вдруг бы мне пошло...»

— Ну чего ты там, давай ложись, — торопила Таня. — Я на ухо тебе расскажу, а то сама знаешь, как оно может быть.

Оля знала: два года назад мать отправилась в школу, чтобы поколотить Олиного учителя литературы. И всё потому, что Оля неосторожно громко поделилась с сестрой своей, в общем-то, незначительной симпатией к этому тихому ценителю неведомых нормальным людям поэтов.

Устроив из подушек и одеял что-то вроде гнезда, сёстры прижались друг к другу.

— Ой, Олька... — весело шептала Таня. — Ой, какие дела... Короче, у меня любовь. Настоящая, теперь уж точно! Он такой, даже не знаю, как и сказать, ну, как будто ненастоящий! Страшно высокий, Оль, выше меня, а лицом —

как супергерой из фильма, помнишь, мы смотрели?... Он меня в музей привёл, ну, в тот, знаешь, здоровый, на набережной. Он работает там — не знаю, охранник, наверное. Но это неважно, кем он работает, потому что он такой, прям не верится какой... Прикинь, я ему сказала, что собак терпеть не могу и мне больше кошки нравятся, а он так улыбнулся и говорит: «Сейчас я тебе кошечку принесу». Ушёл куда-то, и долго его не было, а потом вернулся, а в руках — барс! Я испугалась сначала, а потом смотрю — чучело. А он говорит: «Познакомься, это Юра. Давай, — говорит, — его отпустим, а то ему скучно тут сидеть». Я даже засмеялась сначала, а потом смотрю: он — серьёзно. «Давай», — говорю. И мы из музея этого вышли тихо, чтоб никто не заметил, и на набережную ушли — туда, на островок, помнишь, где мы маленькие гуляли? Там всё кустами сейчас заросло, одна бы я туда не сунулась, но с ним ничего не страшно. Ну, короче, мы туда пришли, и он костерок развёл маленький, Юру этого усадил рядышком. И мы говорили-говорили — ну, больше он говорил, а я слушала. Рассказывал, что хочет к морю, но не к жаркому какому-нибудь — там, говорит, не настоящее море, а к холодному — чтобы ветер был и обледеневшие камни. Да и правда же, Оль, море же должно быть холодное, я тоже так думаю. И прикинь, он говорит, что хочет во Владивосток поехать! Владивосток, слышишь? А у нас же там папа, я ему так и сказала, что у меня папа во Владивостоке! А ещё он сказал, что от дневных людей устал; что все люди бывают дневные и ночные, и он ночной, а кругом одни дневные. А я же ночная, правда, Оль, скажи же, ночная? И я тогда его попросила, чтобы он меня с собой взял. Соврала чуть-чуть, конечно, что всё равно к папе собиралась. Но мы же, помнишь, хотели с тобой сбежать к папе, ну помнишь же?

Оля молчала. Ей всегда не верилось, что Таня запомнила правильно — ну разве могла она таким маленьким ребёнком что-то понять? Тем более такое сложное слово — Владивосток... От него веяло простором, дождём и отчего-то безнадёжностью, словно бы нет его на самом деле, словно бы он — ловушка. Но разве ж скажешь такое Тане? Они за этот Владивосток вместе

столько лет цеплялись — и на карте искали, и фотографии смотрели, и если слышали что-то о нём, то переглядывались со значением.

— Оль, а потом чего было, ты не представляешь! Стало сумеречно так, знаешь, когда темно, но ещё не совсем, и он такой говорит этому чучелу: «Беги, Юра, беги». Оль! И он побежал! Хвостом замахал, потянулся, как кошки тянутся, и — правда-правда! — побежал, я сама видела! Честное слово, вот не знаю, чем тебе клянусь: мне бы кто рассказал — ни за что не поверила бы, но самой себе как не верить? И я тогда поняла, что обязательно должна с ним поехать, непременно! Я просто не позволю ему уехать одному, прямо завтра приду к нему в музей, и никуда он от меня не денется! И тебя с собой возьму! Я тебя здесь не оставлю, ты тут умрёшь без меня, я знаю.

Голова у Оли закружилась. Таня говорила серьёзно, по-настоящему, уж сестре-то не знать ли: раз решила — не отступит. Сказала, что поедет, — значит, поедет. И эта непонятная любовь новая. Станный какой-то. Но Танька никогда ещё так не радовалась: не было такого никогда, словно бы она из актрисы, главной звезды, сама ушла в зрители и теперь на общих правах смотрела на сцену и аплодировала... И Владивосток, столько лет бывший городом-призраком, неведомым и несуществующим миром, куда уходят и откуда никогда не возвращаются отцы, приблизился к Оле и закачался на холодных морских волнах.

Оля закрыла глаза. Таня что-то ещё бормотала ей: что уходить надо рано утром, когда мать крепко спит, и ничего не брать из вещей, только тёплые куртки, бельё и зубные щётки, а больше ничего не надо. «...Мы его рядом с музеем, у черного входа, поймаем, он только там заходит и выходит; а поедем автостопом, и это ни капельки не опасно, за неделю доберёмся, а там обязательно папу найдём, этого не может быть, чтобы не нашли, имя-фамилию мы же знаем, а этот самый снежный барс, наверное, сейчас уже до леса добрался и охотится вовсю и очень радуется своей воле...»

— Ирбис... — прошептала Оля, проваливаясь в сон. — Снежного барса ещё называют ирбис... Красиво как, правда, Тань?

Овета сестры она уже не услышала.

3

Весёлые табунчики посетителей бродят туда-сюда, без трепета вертят головами в разные стороны и щёлкают телефонами: доплати к билету сто рублей — и фотографируй всё, что захочешь. Больше всего посетителям хочется запечатлеть себя — и они тянутся телефонной рукою вверх, играя собственным лицом в экране и стараясь собрать брови, нос и губы в гримасу, совершенно не похожую на обыденное его выражение.

Мешкают улыбочивые фотографии лишь у скульптурной группы, составленной из четырёх мужчин гигантского роста, перепопсанных пулемётными лентами и устремляющих задумчивые взоры куда-то поверх музейного зала, крыльца, гранитной лестницы и асфальтовой набережной, сплошь расчерченной трещинами и разноцветными детскими мелками.

Отчаявшись совместить в одном кадре себя и неведомых великанов, посетителижимают плечами и делают небрежный снимок — пусть будет, чего уж...

— ...Суп я вылила, всё равно бы испортился. Кастрюлю помыла, забирай, — Катерина Пална протянула Рите пакет и улыбнулась вроде как сочувственно. — От Русика слышно чего-нибудь? Звонил тебе? Директриса решила в полицию не ходить, чёрт с ним, сказала, барс всё равно плешивый был — давно стоял.

По дороге к музею, плетясь мимо быстро бегущей и не такое огорчение видевшей реки, Рита тщательно, в мелочах продумала будущую ложь: что Русику пришлось срочно уехать к её, Ритиной, маме, потому что той очень нужна помощь, и что он очень извиняется, но мама любимой женщины, сами понимаете... Но теперь вдруг врать ей перехотелось — зачем и для кого?

Глядя в жёлтые пустоватые глаза рыжей билетёрши, задающей ужасно много вопросов, но на самом деле ни Русиком, ни уж тем более его женщинами не интересующейся, Рита ощутила что-то вроде прозрения, случающегося, наверное, в жизни каждого, не повторяющегося более никогда, но позволяющего в одну секунду узнать всё про себя и своё место — под солнцем или под луной. И Рита вдруг яснѐхонько по-

няла собственную непричастность к миру неупорядоченному, небезопасному, несущему лишь потери и боль; миру русиков и похожих на него людей — летучих, дымных, колких. Этот мир, лишь по нелепой случайности подаривший ей столько радости, Рита вдруг всюю душою презирала и сама себя застыдила за желание оборотиться той, которой быть не могла. В эту же ослепительную секунду ясно определилась и жизнь будущая: хорошая, правильная, основательная, не летящая куда попало, а идущая твёрдым уверенным шагом только по нужным дорогам. Не будет больше легкомысленного ожидания счастья, и случайностей не будет, и всё будет так, как должно быть. А уж если покажется, что живое внутри цело только здесь, под гранитными сводами, никогда не сдающимися ни ветру, ни холоду, так это быстро пройдёт. Всё пройдёт.

И Рита — в первый раз искренне — улыбнулась Катерине Палне. «Отчего бы не улыбнуться, если не увидимся больше, может, если только деток своих лет через десять в музей приведу».

— Да бог его знает, где он, Катерина Пална. Баловство всё это, глупости.

Но та не слушала, округлила глаза и, отчего-то стараясь не шевелить губами, зашептала приглушённо:

— Вон она, вон! Смотри, припёрлась, бестыжая! Это с ней Русик тогда пришёл, а потом сбежал, зараза...

Две девушки поднимались по ступенькам медленно и нерешительно. Видно было, как они замёрзли, словно долго-долго ждали кого-то на холодном осеннем ветру. Одна — высокая, другая — поменьше, одна — темноволосая, другая — светло-русовая, одна — красивая, а вторая — обычная, как все.

Высокая открыла дверь и вошла в тёплый, наполненный весёлыми голосами зал, крепко держа за руку ту, что пониже. Скинув капюшоны курток и оглядевшись, девушки подошли к билетёрше, с ликованием предвкушающей скандал.

— Доброе утро, — поздоровалась высокая. — А позовите, пожалуйста, Руслана.



рассказ

За Мишкиных родителей почти никогда не бывало стыдно. Ну, очень редко — и не за мать, а за отца — когда он выпивал чуток и пришёл кивал пальцами в такт какой-нибудь древней мелодии. А тётя Катя вообще была лучшая — всё говорила и делала как надо. «Почему была?» — подумала Ленка и закрылась одеялом с головой — вспомнила почему. Теперь все они для Ленки как будто умерли, и невозможно, как обычно, проснуться,

умыться потихоньку и свалить к Мишке на целый день. Теперь туда нельзя, потому что Мишка бросил её совсем одну навсегда.

Ленка хотела поплакать, как вчера. Но плакать не получалось — за стенкой вопил телевизор. Мама уже проснулась и гремела посудой — словно назло, в субботу, когда хочется поспать подольше. Ленка даже представляла себе, как мама ранним утром заглядывает к ней в комнату, видит, что дочка спит, и бежит скорее на кухню. Хватает поварёшку, ну или толкушку — что попадётся, и какую-нибудь кастрюлю побольше. И стучит, стучит — типа нечего тут расслабляться, вот и телевизор погромче включим.

Ленка потянулась к телефону и уткнулась в его светлый экран. Пусто, одни чужие картинки. Мишка бы сказал: «Хватит глаза портить...» А теперь ничего не скажет. Ленка спрятала телефон под подушку и крепко зажмурилась — когда-то в детстве она думала, что, если закрыть глаза и очень захотеть, можно вернуться во времени куда захочешь. Никогда, конечно, не срабатывало, но вдруг, если вспомнить что-нибудь правильное, получится?

Вот можно подумать про тётю Катин одёжный шкаф. Всё там у неё разложено ровно, свободно — чтобы сразу найти. И есть специальная верхняя полка для нарядов не по размеру. «Я снова выросла вширь», — смеялась тётя Катя, но видно было, что ей это неприятно. Однажды тётя Катя на табуретку забралась и как давай кидать из шкафа прямо на пол такие чудеса — что-то мягкое, переливчатое, полупрозрачное, она бросала вслед каждой вещичке такие же чудесные переливчатые слова: шёлк, кашемир. «Бери, — сказала, — мне теперь зачем?» Но Ленка не взяла, конечно. Во-первых, не по размеру ей это всё было — тётя Катя крупная, высокая, а Ленка, как Мишка её называл, мелкотня. А во-вторых, куда Ленке в шёлковой белой рубашке идти? Тётя Катя тогда огорчилась, но не обиделась — лучшая же, что и говорить.

Или, решила Ленка, лучше подумать про Мишкины окна. Если на них смотреть вечером с улицы, становится так щекоотно-странно. В одной комнате за зелёными шторами горит яркая лампа, в другой — темно, но пляшут

сине-белые тени от телевизора. А окна Мишкиной комнаты составлены из узких полосок света и черноты — он ждёт и не закрывает жалюзи, знает, что Ленке нравится самой с ними управляться. Она придёт, заберётся на подоконник, покрутит лёгкую пластмассовую палочку, глядя во двор, где стояла ещё пять минут назад, и словно разделится на две Ленки: одна ещё там, у пустых качелей, под мелкой дождевой россыпью, а вторая уже здесь, в безопасности и тепле.

А ещё вернее будет, если хорошенько, с усилием, подумать про самого Мишку. Ленка, когда его первый раз увидела, сразу поняла, что ни за что, ни в коем случае вселенная не повернётся таким счастливым боком, чтобы Мишка к ней подошёл и с ней заговорил. А вселенная взяла и повернулась. Он такой был (опять — был! он же есть, есть!) сияющий. Когда улыбался или задумывался, или скучал, всегда лучился чем-то непонятным изнутри. Как будто точно знал: что бы ни происходило вокруг, ему это не повредит, потому что внутри у него свежо и чисто, как первым снегом усыпано. И был он сам как-то верно, точно собранный: вот к таким волосам нужны именно такие плечи, а к таким глазам — только такой и никакой другой подбородок. Разве мог он — такой! — сначала быть с Ленкой долго-долго, целых полгода, а потом сказать, что больше не хочет её видеть, что ему очень с ней было весело, но всё закончилось насовсем?

Ленка зажмурилась сильнее, чтобы попасть в тот вечер, когда они с Мишкой в первый раз гуляли по набережной. Тогда Ленка одной рукой вела по шершавому, нагретому солнцем камню, закрывающему от них серое речное полотно, а другой — держалась за Мишку. И никогда ещё ей не было так хорошо и спокойно — так, как надо, и пропало наконец-то это вечное чувство стыда за себя и за всё, что вокруг неё. Будто бы Ленка во всём этом виновата. А она ведь совсем ни при чём.

* * *

Когда-то Ленкина мама с гордостью говорила, что живут они в самом центре города и что тихо, но в то же время всё рядом. И

садик Ленкин, и школа, и скверик симпатичный — гуляй не хочу.

Весной сквер утопал в талой воде, летом — в тёплом, как звериная шёрстка, тополином пуху, осенью — в россыпи палой листвы, зимой под снегом — начисто, наглухо, безнадежно. Посреди сквера стоял памятник, обсаженный шафраном, и бабушка всегда маму поправляла — не шафран, а бархатцы. На голове у памятника пакостили голуби, по-своему понимающие красоту — плещущие крыльями, говорливые, хлопчущие стаи.

Никто не знал, но Ленкин двор на самом деле был как будто островом — это она ещё в первом классе придумала. Выплываешь из него мимо гаражей по узкой тропинке и плывёшь до сквера. Там снова суша, и можно поглядеть на рыжий шафран. А потом опять плыть по асфальтовой речке тротуара до школы. Пять минут пути — и бросаешь якорь на высоком школьном крыльце.

А двор и вправду походил на остров. Огороженный со всех сторон, солнечный и тихий, с густыми газонами, толстыми, вечными тополями и буйно цветущими кустами сирени. Ленка росла, но во дворе ничего не менялось, лишь уменьшалось в размерах и слегка тускнело. Где-то за пределами острова сносили деревянные бараки, выстраивали новенькие многоэтажки, превращали старые булочные в аптеки или пивные, открывали магазины — с шумом, музыкой и воздушными шарами. А на Ленкином острове по-прежнему росли одуванчики, бродили непуганые коты, бледные сонные женщины всё так же толкали перед собой детские коляски, завесив сердитые младенческие личики дымчатой тканью, чтоб не сглазили; и простыни на балконах сохли всё те же — в полоску, в крапинку и в цветок.

С острова, напрямик со скамейки у подъезда, увезли в больницу Ленкину бабушку, и Ленке до сих пор казалось, что дойди тогда бабушка до двери — ничего бы страшного не случилось. Обрато бабушка уже не вернулась, и с тех пор всё посыпалось: квартиру продали и уехали куда-то на скучную окраину, и Ленке пришлось пойти в другую школу, где все были чужие и никому до неё дела не было.

Она съездила пару раз в центр, в старый

двор, но мамы с колясками глядели с подозрением, коты шарахались, а все балконы вдруг разом застеклили. Ленкин остров ушёл под воду, ей совершенно некуда было идти, и стало страшно стыдно за себя и собственное нелепое существование. Стыдно за свои нескладность и худобу, за то, что одна комната у них завалена хламом — как привезли кучей со старой квартиры, так и оставили. А больше всего стыдно за маму — за её слишком белые, жидко распущенные по спине волосы, глупый плащ и шаткие каблукы, бессмысленную возню на кухне и всегда, всегда неудавшиеся пироги — обгоревшие сверху и сырые внутри.

И пока Мишка не появился, Ленка даже разговаривать нормально ни с кем не могла, прятала глаза и заикалась, от этого в новой школе её считали чокнутой. А Мишка всё исправил: сказал, что она похожа на Кайли Миноуг, только стриженная, и встречал каждый день после уроков. Оказалось, что он эту же школу окончил год назад и все его там знали. И с Ленкой все одноклассники сразу стали здороваться и спрашивать, как у неё дела. И Мишкина мама попросила называть её тётей Катей и улыбалась ласково, Мишкин папа выпивал чуток и перебирал стопку древних пластинок, обещая включить такое, такое!.. А Мишка с тётей Катей переглядывались, как сообщники, и посмеивались над ним, будто над маленьким ребёнком.

* * *

Чтобы отвлечься, Ленка шаталась по квартире туда-сюда. Останавливалась в коридоре, у зеркала, и разглядывала себя. Птичье личико, острые коленки, короткая стрижка. Лёгонькая, миленькая, неосновательная — как с такой остаться навсегда? Для «навсегда» нужна совсем другая стать, не пух и перья, а мрамор и безупречность. «Шёлк и кашемир...» — всплывало в мыслях у Ленки, и она снова принималась реветь.

Главное, не вспоминать, как вчера не выдержала и потащила к Мишке — поговорить ещё разочек, ну вдруг всё неправда и всё, что сказано, можно отменить. Окна его глядели, как обычно, и очень больно было понимать, что там, наверху, Ленку никто не ждёт.

Она вошла в лифт, нажала на четвёрку и слушала, как гудят где-то металлические тросы и стучат неведомые механизмы — так же сильно и упорно, как её собственное сердце. Лифт открылся, и Мишка стоял перед ней — собрался, видно, прогуляться.

Ленка шагнула вперёд, уткнулась носом в его шарф и испытала какое-то райское чувство возвращения. Он опустил ладони на её плечи, и Ленке на секунду показалось, что Мишка сейчас обнимет её, как всегда. Но он только отодвинул Ленку от себя и сказал тихо и твёрдо:

— Всё, Лена, всё. Я же говорил уже.

И сил у Ленки осталось ровно на два шага назад — от Мишки до открытого ещё лифта. Стальные половинки сдвигались, закрывая от неё Мишкино лицо. В последнюю секунду он вдруг помахал ей на прощание, лучась, как всегда, своим неведомым внутренним светом, и его улыбающиеся губы сложились в беззвучное «пока-пока!»

Ленка захлопнула за собой тяжёлую подъездную дверь и побрела куда-то, добросовестно переставляя ноги, очень стараясь оказаться как можно дальше от всего, что случилось, от своего стыда, и от себя тоже, и забрела вдруг так далеко, что перестала узнавать дорогу. От растерянности она даже перестала плакать и подняла голову, соображая, как бы теперь вернуться и где же тут остановка.

Тётя Катя в незнакомом Ленке жёлтом пальто шла навстречу легко, будто бы на цыпочках, и держала под руку мужчину — не Мишкиного папу, а другого — очень высокого, с насмешливым обросшим густой чёрной щетиной лицом.

Ленке показалось, что, не держись тётя Катя за своего спутника, унеслась бы, как воздушный шарик, выше крыш. Мужчина смотрел на тётю Катю жадно и отчего-то немного удивлённо, а она, смеясь, говорила что-то быстрое, потом уткнулась в его плечо лбом и даже, кажется, на секунду прижалась губами к коричневой коже его куртки. И вся она была незнакомая, презрительная ко всему вокруг; а Ленка почему-то сразу вспомнила, как Мишкин папа, шурясь, щёлкал пальцами под музыку и говорил: «Это, Ленусик, не ваши нынешние дрыгалки...»

* * *

Тётя Катя встретила с Ленкой глазами, отвела взгляд безо всякой паники и смущения, будто бы от совершенно чужого человека, и прошла мимо, не потеряв ни презрения, ни лёгкости шага.

Этого Ленка снести не смогла.

— Екатерина Сергеевна! Екатерина Сергеевна! Тётя Катя! — выкрикнула она вслед жёлтому пальто.

Тётя Катя остановилась, сказав бороде что-то негромкое, отцепилась наконец от его рукава и повернулась к Ленке.

— Ну что тебе, Леночка? Что ты хочешь? — спросила она с неудовольствием, стала вдруг выглядеть так, словно её только что разбудили, тряхнула головой и улыбнулась легонько. — Ладно. Давай так: я с Мишей сама поговорю, попрошу его, чтобы он насчёт тебя передумал, ну а ты никому ни слова про... — она не договорила, подняла брови и кивнула в сторону чернобородого. — Понимаешь?

— Что? Что я понимаю? — закричала Ленка. — Я ничего не могу понять! Да идите вы все! — и пошла прочь — и быстро, и ещё быстрее, а потом побежала, и бежала так долго, что закололо в боку, как в детстве, когда опаздываешь в садик и никак, никак не успеваешь за скорым маминым шагом.

Мишка позвонил поздно вечером.

— Знаешь, Лен, — проговорил он как-то неуверенно — так, словно кто-то стоял рядом с ним и подсказывал нужные слова. — Я тут подумал, может, мы поторопились? Хочешь, завтра погуляем? Я за тобой сам зайду.

Ленке снова стало стыдно, но не за себя, как раньше, а за него — невыносимо стыдно и жалко, что всё вот так может получиться и ничего тут исправить нельзя. И даже представить было противно, каково ему — звонить вот так и говорить такое.

— Нет, Мишенька, не пойдем, — сказала Ленка. — Всё значит всё. Тёть Кате — привет.

Она выключила телефон, перевернула его экраном вниз и совершенно расхотела плакать. Из кухни слышался рассыпчатый стук — наверное, снова будут пироги, и эти дробные хлопоты ножа о доску вдруг показались Ленке похожими на аплодисменты.

□

Ирина Викторовна ИВАСЬКОВА

родилась в Красноярске.

*Окончила Красноярский государственный университет,
факультет юриспруденции.*

Пишет прозу, стихи.

*Публиковалась в периодических изданиях,
в том числе в газете «Кубанский писатель», журнале «Север».*

*В 2014 году вошла в лонг-лист независимой премии «Дебют»
номинации «Малая проза» с подборкой рассказов.*

*В 2015 году получила Гран-при I Всероссийского
литературного фестиваля-конкурса «Поэзии прекрасный свет».*

*В 2017 году стала лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса
«Хрустальный родник».*

Член Союза писателей России.

Живет в Анапе.

